

4. *Иванова Л. В.* Формирование советской научной интеллигенции (1917—1927 гг.). — М.: Наука, 1980.
5. *Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г.* Астрономы. Изд. 2-е. — Киев: Наукова думка, 1986.
6. *Селиванов С. М.* Шестьдесят лет Ташкентской астрономической обсерватории // Мироведение, 1936. — Т. 25, № 2. — С. 115—120.
7. *Стратонов В. В.* Звезды. — М.; Пг.; Харьков: Изд. т-ва В. В. Думнов, 1919.
8. *Стратонов В. В.* Главная Российская астрофизическая обсерватория // Труды Главной Российской астрофизической обсерватории, 1922, —Т. I. —С. 1—27.
9. *Щеглов В. П.* История Ташкентской астрономической обсерватории Академии наук Узбекской ССР // Труды Института истории естествознания и техники. 1955. Т. 5. С. 337—380.
10. *Svoboda J.* Vsevolod Victorovich Stratonov. Rise hvezd, 1938, №7, с. 172—174.

ПОТЕРЯ МОСКОВСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ СВОБОДЫ (воспоминания о забастовке 1922 г.)

В. В. Стратонов

I

*Вместо введения. Управление М. У-та.
Факультеты. Студенчество. Неостуденчество.
Профессура. Ренегаты.*

Московский университет был лишен автономии в 1920 г. Но он еще оставался очагом свободной мысли и чистой науки. Он оставался также и рассадником общечеловеческой, а главное — внеклассовой культуры.

Примириться с этим советская власть не могла. От коммунистов неоднократно приходилось слышать:

— Мы вам высшей школы не отдадим!

Провинциальные высшие учебные заведения («Вузы») с их малочисленной профессурой, изолированные, подавленные материальной нуждой, — упорства в защите своей научной свободы проявить не могли*). Сопrotивление петроградской профессуры, при изумительно героической стойкости отдельных ее членов, вследствие местных условий, в общем было слабее, чем московской профессуры. Наиболее напряженная защита свободы высшей школы происходила в центре, в Москве. Во

*) Особенно страдали университеты юга России. Над ними невзбранно экспериментировал украинский Наркомпрос, обращая их в «ВИНО» и «ИНО» (Высший Институт народного образования и Институт народного образования).

главе ее, как самая сильная цитадель, естественно стоял Московский университет — старейшая и крупнейшая высшая школа России.

Неравная борьба имела предрешенный исход. Грубое насилие и террор ГПУ не могли не победить. Катастрофа свершилась. Каждая *alma mater* перестала быть свободною матерью. Она была теперь низведена террором на роль невольницы, принужденной обслуживать захватчиков власти. Победа, да... Но не будет ли она Пирровой?

В период острой борьбы, в 1921-1922 гг., автор имел честь быть деканом физико-математического факультета Московского университета. Этому факультету суждено было попасть в фокус борьбы за Московский университет. Задача автора — познакомить читателя с важнейшими эпизодами борьбы. Это, может быть, не лишнее. Образовалось несправедливое мнение, будто русская, а в частности московская профессура, свернула пред коммунистами знамена свободной культуры вовсе без борьбы *).

В 1920 г. выборное правление университета было заменено составленным частью из членов правления по назначению, частью же — хотя и по избранию, — но из лиц, приемлемых для Наркомпроса. Мера эта являлась всероссийской, но для эксперимента был избран Московский университет. Нелегким делом оказывалось подыскать ректора «по назначению». Затруднение разрешил Д. П. Боголепов, подсказав свою кандидатуру.

Этот «ученый финансист» рано переметнулся к большевикам. Он не был, однако, удачлив в своей карьере, хотя получал и высокие советские посты, вроде заместителя народного комиссара финансов. Было нечто в его деятельности, заставлявшее власть каждый раз довольно быстро смещать Боголепова с доверенного ему поста.

Теперь, состоя членом Государственного ученого совета (ГУС-а), Боголепов подал доклад с программой

*) Трудности, стоящие пред автором, велики и понятны. Нельзя говорить всего: надо беречь тех, кто и сейчас находится во власти коммунистов. К тому же писать приходится лишь по памяти: автор, высланный осенью 1922 г., в составе известной партии ученых и писателей, из России, не мог взять с собою никаких документов.

приведения к порядку «белой» профессуры. Он, между прочим, писал:

— Профессора слишком лояльны и слишком трусливы. Угрозою лишения академического пайка можно заставить любого контрреволюционера профессора читать курс марксизма!

Доклад начальству понравился. И Боголепов стал первым назначенным ректором Московского университета.

Сверх ожидания, Боголепов удержался на посту ректора несколько месяцев*). Но ему помогал, восполняя не хватавшее Боголепову, профессор физики А.К.Тимирязев, «назначенный» член правления»; о нем речь еще будет.

Боголепов был заменен в 1921 г. В.П.Волгиным, небезызвестным советским деятелем. Волгин обладал тактом, и это смягчало трения, возникавшие между назначенным ректором и еще остававшимися автономными факультетами.

Ближайшим помощником и своим заместителем Волгин взял профессора историко-филологического факультета А.В.Кубицкого. Эта кандидатура была подсказана — и весьма неудачно — частным кружком профессуры. На новом посту Кубицкий быстро изменил политическое лицо. Говорили, что у него на факультете были какие-то разногласия с коллегами. Это ли повлияло или что-либо иное, но Кубицкий стал проявлять свойственную только ренегатам озлобленность и против профессуры вообще и против прежнего университетского строя.

Совмещая несколько должностей, Волгин бывал в университете не часто. На ректорское кресло сел Кубицкий и цепко держал все в руках, распоряжаясь «за ректора».

В среде студенчества Кубицкий приобретал тем временем все большее неуважение; бывало, что из студенческой среды ему бросали оскорбительные выражения...

Разрушение Московского университета произошло при управлении Волгина и Кубицкого.

*) Боголепов прислал совершенно нелогичное и шедшее в разрез с распоряжениями Наркомпроса предписание физ.-мат. факультету. Автору, как декану, пришлось ответить жестокою критическою отповедью, которая в копии была послана и в Наркомпрос. Вслед за тем Боголепов был освобожден от бремени управления Московским университетом.

Как только управление университетом перешло к возглавлявшемуся Боголеповым правлению, мы решили создать свой нелегальный орган, для объединения деятельности профессуры. В него вошли последние выборные члены правления и еще остававшиеся в должностях члены президиумов всех факультетов. Председательствовал бывший последним выборным ректором проф. М.М.Новиков.

Сначала мы собирались каждую неделю, потом — все реже. Удачи с этим органом не было: в него входили лица слишком различных направлений. Некоторые уже стремились упрочиться в должностях и при новом порядке; иные просто стали проявлять боязливость. Дружного согласия не возникало. Ограничивались поэтому заслушиванием разных информаций. Участники собраний стали к делу охладевать, посещаемость падала. Эта организация, при развернувшихся в другом направлении событиях, умерла естественной смертью.

В эту пору профессура Московского университета была весьма многочисленна. Властью были слиты воедино: собственно Московский университет, Высшие Женские курсы, и университет имени Шанявского. Это была, однако, если допустить сравнение, скорее механическая смесь, чем химическое соединение: каждая корпорация стремилась сохранить свою индивидуальность. Все же, при таких условиях, число профессоров и преподавателей в Московском университете значительно превосходило тысячу.

Разгром университета к этому времени уже начался.

Юридический факультет был сокрушен первым. Вместо него создан был факультет Общественных Наук («ФОН»). Некоторые профессора должны были уйти: пристроился, кто как мог. На факультет была влита крупная доза «красной профессуры» из состава коммунистической партии, объявившей вдруг некоторых из своих видных членов... профессорами Московского университета. Как правило, аудитории этих профессоров представляли аравийскую пустыню. Над историко-филологическим факультетом уже нависла большевистская рука. В 1921 году факультет частью слился с ФОН-ом, частью рассыпался на отдельные научно-исследовательские институты. Последним выборным деканом был проф. А.А.Грушка.

Медицинский факультет, деканом которого в рассматриваемое время был проф. А.В.Мартынов, находился

вне прямой угрозы. Одно из характерных свойств коммунистических сановников — повышенная забота о сохранении своего драгоценного здоровья. По этой причине советская власть повсюду относительно деликатничала с профессурой медицинских факультетов и даже кое в чем ее ублажала. Но, вместе с тем, проявлялось старание большевизировать факультет. Среди молодых ассистентов был уже к тому времени значительный процент коммунистов.

При равноправии профессорских и преподавательских голосов в вопросах управления университетскими делами коммунистическая окраска крупной части медицинской молодежи являлась существенным фактором.

Еще больший процент коммунистов был среди студентов медиков, особенно на старших курсах. Быть может, это стояло в связи с открытием прямого доступа на старшие курсы фельдшерам *).

О студентах-фельдшерах профессора рассказывали немало курьезов. Один такой студент 4-го курса уверял, например, что для противооспенной прививки вовсе не надо детрита:

— Сколько раз в больнице я производил, за отсутствием детрита, оспопрививание гуммиарабиком! Получались те же явления: пузырьки, покраснение...

Факультет испытывал величайшие материальные затруднения. Особенно сильно страдали клиники. Но самоотверженная добросовестность старшего медицинского персонала охраняла больных от больших лишений. Даже уход со стороны низшего персонала был относительно недурен. Как и вся Москва — а тем более, как и вся Россия — клиники испытывали самый острый недостаток в медикаментах, особенно заграничных**).

Физико-математический факультет был в пренебрежении: естествознание коммунистам нужно не было. Чле-

*) Как раз перед этим происходили известные случаи вынесения ротами на митингах резолюций: — Произвести нашего ротного фельдшера в доктора!

**) В эту же эпоху я лично слышал рассказ заведующего центральным государственным медицинским складом:

— Наш склад завален прибывающими в Москву из-за границы медикаментами! Некуда их складывать... Все места под крышами и навесами переполнены. Сваливаем медикаменты на открытом воздухе. Много портится и пропадает!

нов факультета числилось свыше 250 человек. Деканом был автор*).

Учебная деятельность факультета весьма затруднялась вклиниванием в его помещения рабочего факультета (рабфака) имени М.Н.Покровского. Молодежь этого привилегированного классового учебного заведения безвозбранно распоряжалась в «новом» здании университета, точно в завоеванной стране. Рабфаковцы силой захватывали понравившиеся им аудитории, не считаясь ни со своей фактической потребностью, ни с тем, что таким произволом нарушалось — а иногда делалось и вовсе невозможным — правильное преподавание на основном факультете. Под натиском этой самовольной молодежи, профессорам приходилось кочевать из аудитории в аудиторию, иногда из здания в здание (напр., с Моховой улицы на Девичье Поле), меняя часы лекций и растеривая по этой причине слушателей.

Присутствуя, весной 1922 г., в заседании, в Кремле, советского Олимпа (см. дальше), я заявил — приводя в доказательство конкретные факты — об этих бесчинствах рабфаковцев «Большому Совнаркому». Участвовавший в заседании шеф рабфака М.Н.Покровский вынужден был ответить:

— Конечно, приводимые проф. Стратоновым случаи являются озорством! Жалею, что я не знал об этом раньше.

Не знал...

Ученый персонал факультета, за исключением некоторых нужных для советской промышленности химиков, а отчасти и физиков, материально был в загоне. Учебно-вспомогательные учреждения страдали от недостатка аппаратов, реактивов и т.п., а также от морозов.

Зимой мы читали лекции при изрядном морозе в аудитории. Особенно тяжело было при этом студентам. Зачастую плохо одетые, они просиживали часами без движения, при 8-12 градусах мороза. Профессорам было легче: и теплее одеты и все же могли при чтении двигаться.

Впоследствии факультеты разрешили своим членам отказываться от лекции, если в аудитории было более

*) Естественно поэтому, если автор будет останавливать внимание на особенно ему знакомом факультете более, чем на других.

пяти градусов мороза. Громадное облегчение! Недовольным, желавшим читать лишь при более высокой температуре, возражали:

— Ведь мы же разговариваем на морозе, при пяти градусах? Следовательно, и читать можно.

При таких условиях темп чисто научной работы на факультете, конечно, ослабевал. Однако она никогда не замирала. Как только условия становились сноснее, эта работа усиливалась.

— American Relief Association («Ара») приглашает вас в комиссию, в качестве представителя Московского университета, для организации в Москве бесплатной студенческой столовой.

В эту комиссию вошло, кроме американцев, около десяти профессоров из разных высших школ Москвы.

Американец-председатель спрашивает:

— Нет ли, среди присутствующих профессоров, коммунистов?

Получив надлежащее разъяснение, он стал проще и откровеннее. Столовая была устроена, и в течение доброго года несколько сот беднейших студентов имели ежедневно бесплатный, сытный обед.

Заведующая столовой мне показывала:

— Смотрите, как ни голодны студенты, а часто не могут доесть порций; так они велики.

— Остатки, — говорила она, — мы собираем и снова перевариваем. Затем отсылаем их в ближайшие советские детские приюты.

Столовая была закрыта по вине советской власти. Заявлялось:

— У нас голода больше нет!

От американцев из «Ара» я слышал:

— Что делать! Мы знаем, что это неправда. Голод продолжается. Но поймите и нас: при таких заявлениях мы обязаны закрыть свои учреждения.

Конечно, американцы могли помочь только небольшой части голодающего студенчества. Но то, что они сделали здесь и что делали для России вообще, было неопределимым благом*). Земной поклон «Ара»!

*) Кажется, немногие знают, что русские астрономы, в знак благодарности, назвали две открытые ими в обсерватории Симеиз, в Крыму, малые планеты: одну — «Ара», другую — «Америка».

Представитель «Ара» попросил показать ему студенческие общежития:

— В каких условиях живут ваши студенты?

Его повезли в ближайшее из общежитий. Американец ехать дальше отказался:

— Нет надобности! Еще худшего, чем я увидел, нельзя себе и представить...

Московское студенчество*) начала двадцатых годов — одно из самых светлых явлений нашей горестной эпохи. Невероятные лишения — и жажда знания.

Студенты нередко разыскивали заброшенные дворничьи. В ту пору дворники уже переселились в «барские» квартиры. В дворничьих с радостью устраивались студенты:

— Лучше, чем ночевать на скамьях бульваров...

Занимались нередко по единственному учебнику на 10-20 человек, — в порядке очереди, во всякое время суток. За неимением света за столом, выстаивали часами за чтением у тусклой лампочки в уборной. Прежние студенческие общежития были захвачены большевиками для своих целей.

И голод, голод... Благотворительные организации исчезли**). Теперь студентам приходилось и учиться, и служить в советских учреждениях. Страдали и учение, и служба.

В эти годы у профессуры с главной массой студенчества установились, кажется, небывалые раньше дружеские отношения. Никакого намека на трения! Студенты шли к нам советоваться и по своим делам, очень часто прислушиваясь к нашему мнению. Нам удавалось также останавливать их от рискованных шагов.

Осенью 1922 года, после погрома профессоров и писателей и высылки части их за границу, при терроризованности оставшихся, большевицкий удар был нанесен этой славной студенческой молодежи. Их разметали в Соловки, в Архангельский район, в Сибирь... Еще ранее этого студенческого погрома в университет хлы-

*) Со студенчеством этой эпохи в других городах автор мало сталкивался, почему о нем говорить не может.

**) Мы пытались, в начале 1922 г., с участием нескольких видных общественных деятелей, восстановить Московское общество вспомоществования студентам. Не вышло, террор ГПУ повлиял на участников.

нул поток нового студенчества. Каждый, кто достиг 16 лет, мог, на основании декрета, зачислиться студентом. И зачислялись...

Наш факультет был особенно запружен этим студенчеством. На факультете числилось 13,5 тысяч студентов. Вероятно, это мировая рекордная цифра студентов для одного факультета. Вместе с тем, это составляло половину всего вообще московского студенчества той эпохи.

Наплыв объяснялся устремлением на естественное отделение «криптомедиков». На медицинском факультете все же существовали нормы. Не попавшие в них шли на естественное отделение, надеясь как-нибудь все же проникнуть на медицинский факультет.

Положение стало тяжким, особенно с преподаванием предметов, нужных и для естественников и для медиков. Аудитории так переполнились, что иные лекции приходилось читать по два и даже по три раза. Сидеть в аудиториях студенты не могли; теснились, как в церкви на пасхальную заутреню. Устраивались даже на столах для демонстраций, стесняя самые движения профессора.

В течение лекции выносили по несколько раз терявших от духоты сознание. Особенная давка бывала на лекциях по неорганической химии проф. А.Н.Реформатского.

Не легко было и в деканате. На приемах у декана образовывались шалыпинские хвосты. Через полгода начался, однако, отлив. Многие сами убедились в бессилии справиться с университетским курсом, не имея подготовки. Осталось на факультете семь или восемь тысяч студентов. И с этим количеством было нелегко. При новом правлении в студенты зачисляли лишь при благоприятном заключении декана. На приемах продолжались громадные толпы, ибо тогда из провинций, кто мог, устремлялся в центр, в Москву.

Безусловно мы принимали лишь переходящих из университетов добольшевицкого периода. Из новых же, которые возникали в провинции, как грибы после дождя, с преподавателями средних школ, переименовавшимися ныне в профессоров, мы принимали лишь в случае согласия на зачет нашего профессора соответственной специальности, или, в исключительных случаях, декана. Многим поэтому приходилось отказывать.

Особенно изводил поток студенток химико-фармацевтического отделения из Одессы. Они тоже хлынули в Москву на естественное отделение, чтобы перебраться затем на медицинский. У этих студенток почти каждая предъявленная зачетная книжка заключала в себе подчистки, переправки или подделки профессорских подписей. Приходилось с ними быть особенно настороже.

Немало возни бывало и с коммунистами. В преподавательской своей деятельности мы тогда еще могли не всегда считаться с классовыми соображениями.

Студенты-коммунисты, развращенные партийными привилегиями, стремились нередко попасть в студенты без достаточной подготовки. Подает такой субъект прошение и тычет партийный билет:

— Я коммунист!

— Простите, мы принимаем в университет на основании познаний, а не партийной принадлежности. Ваши образовательные документы?

Удивленный и негодующий уходит искать другие пути. Нередко такой субъект являлся с письмом от кого-либо из коммунистических сановников:

— Прочтите, товарищ декан!

Откладываю письмо в сторону.

— Изложите ваше дело.

— О нем, товарищ, написано в письме...

— Письмо прочту после. Сначала скажите, о чем вы просите.

Большие глаза... Однако смиряется, излагает просьбу о приеме. Если подготовка достаточная, принимаю; нет — пишу окончательную резолюцию об отказе. Потом вскрываю письмо.

— Сами понимаете: вы не подготовлены. Нельзя!

Хлынуло в Москву немало коммунистов-студентов из Франции, Швейцарии, Германии, Польши... Такие неостуденты под конец все же почти всегда проникали в университет — по специальному распоряжению власти. Предвзято враждебного отношения к новому студенчеству, в частности к коммунистам, в среде профессуры, конечно, не было. Проявлялось безразличие к политической физиономии раз зачисленного в студенты. Так было по крайней мере до погрома в августе 1922 г.

Но и само неостуденчество стремилось тогда слиться с общей массой, — не выделяться. Весной 1922 г. Наркомпрос потребовал от меня заключения о том, ка-

кова успешность рабфаковцев по сравнению с успешностью остальных студентов. Ни одна из «предметных комиссий» не могла дать заключения: рабфаковцы постарались не быть заметными.

После большевицкого разгрома средней школы, даже и прошедшие в ней полный курс являлись с недостаточной для университета подготовкой. Мы решили поэтому учредить при Московском университете подготовительные курсы для вышедших из советской трудовой школы — будущих студентов. Преподавали на курсах по большей части молодые университетские преподаватели. Во главе курсов стал проф. П. Н. Каптерев. Длительность обучения, в зависимости от предварительной подготовки, была рассчитана на 1-2 года.

На курсы записалось около 1500 человек. Занятия шли успешно. В следующем году, однако, на курсы стал коситься Наркомпрос. Заподозрили контрреволюционность. Поговаривали об их закрытии. Пришлось побороться за сохранение курсов. Победили. Впоследствии, когда было установлено различие прав для поступления в университет, наши курсы были уравнены в правах с привилегированным рабочим факультетом.

— Взятничество профессоров!

— Вымогательство от студентов!

Такие восклицания, с соответственными комментариями, запестрели в казенной печати.

Это — профессор анатомии П.И.Карузин имел несчастье привлечь на себя большевицкую шумиху. Возникли толки о том, что Карузин принимает от студентов подношения продуктами и что для таких студентов он устраивает специальные, а следовательно, платные практические занятия. Самый факт, хотя по обстоятельствам времени и объяснимый, но, конечно, ненормальный, встретил дружное товарищеское осуждение.

Советская же власть инсценировала возмущение этим фактом студентов. Появились жалобы. Поднялся великий газетный шум. Профессура, вся огулом, обвинялась в поборках со студентами. Возражать — возможности не было.

Над П.И.Карузиным был назначен «показательный» суд, в наибольшей из университетских, в «богословской» аудитории. На суде выяснилось, что обвинения в общем основания имели. Но они объяснялись материальной нуждой многоосемейного Карузина. Сами студенты, делавшие подарки, свидетельствовали, что дарили по

собственному побуждению, делясь с нуждающимся профессором избытками привозимого ими или получаемого от родных из провинции. Жаловались только инструктированные студенты-коммунисты.

Сенсация — добровольное появление на суде, в качестве свидетеля защиты, народного комиссара здравоохранения Н.А.Семашки. Наркомздрав, вспоминая время своего студенчества, наговорил немало лестного в пользу Карузина. Картина для обвиняемого сложилась благоприятно. П.И.Карузин был приговорен к общественному порицанию. Вслед за вынесением приговора, на Моховой улице разыгралась небывалая сцена:

Над многосотенной толпой молодежи выносятся кресло. На нем — седая согбенная фигура. Студенчество вынесло прямо из суда П.И.Карузина на кресле и, при сплошных овациях, на руках отнесла его на квартиру, в одном из университетских домов.

Положение профессуры Московского университета в 1921-1922 гг. было, конечно, не хуже, чем остальных обывателей, кроме привилегированных, — но все же оно было весьма тягостным. Достаточно вспомнить об издательствах пролетарских юнцов и plebs'a над интеллигенцией, и в этом случае профессорское звание было наихудшей защитой.

Нам также приходилось очищать улицы от снега, сбрасывать его с крыш, колоть лед на мостовых, очищать дворы от навоза и т.п. Непривычный и непосильный физический труд, жизнь впроголодь и длительная моральная угнетенность влияли на усиленную смертность одних и на погубление здоровья у большинства. Сильно развились сердечные болезни.

В тюрьмах Чека и ГПУ пересидело много профессоров Московского университета. Не перечить! Но, кажется, чаще других сажали проф. А.И.Ильина*).

*) Особенно трагична судьба профессора математики А.А.Волкова. Он попал в засаду, 1 сентября 1919 г., на квартире недавно пред тем арестованного Н.Н.Щепкина, по так называемому делу о «Национальном Центре». Слухи — разные. По одним, у Волкова в кармане оказались зашифрованные документы; но мне вспоминается, как будто в советской печати было, что с обвинением Волкова произошло недоразумение. Советская печать, после ареста, обливала Волкова разными инсинуациями. Он был расстрелян в тюремном подвале на Лубянке, вместе с многими другими, во главе с Н.Н.Щепкиным.

На улицах профессоров можно было видеть в обычном для москвичей «туалете»: в теплое время — с мешком за спиной, в холодное — с салазками на веревке позади.

Все, что профессора зарабатывали, едва хватало на покупку ржаного хлеба. Им спекулировали университетские сторожа, устроившие на казенных дворах в своих квартирах хлебопекарни и торговавшие хлебом в Охотном Ряду или среди профессуры. На остальные нужды профессора распродавали остатки имущества и даже свои библиотеки*). Профессора претерпевали материальные и моральные тяготы, но еще могли сохранять достоинство, оставаясь просто беспартийными. Аполитичность еще терпелась. Это уже после погрома 1922 г. под непрерывной угрозой потери места, а следовательно голода — профессура оказалась вынужденной изучать Маркса и по приказу выносить претящие чувству и достоинству резолюции... Но до того времени можно было, уйдя глубоко в себя, отводить душу в преподавательской и научной работе. Так и поступала в массе профессура, более преклонная по возрасту.

Иначе было с молодым университетским персоналом. Некоторые еще живо помнили о тяготившем их, иногда слишком генеральском, отношении к ассистентам, лаборантам и пр. со стороны профессоров, возглавлявших кафедры: от этого молодежь теперь фактически была освобождена. А затем — молодые приват-доценты, не менее как с трехлетним преподавательским стажем, сами автоматически стали профессорами. И вся университетская преподавательская молодежь (ассистенты, лаборанты и пр.) приобрела не только равенство голоса с профессурой, но и почти равное материальное обеспечение. Кто же, в тайниках души, озлобится из-за увеличения своих прав...

*) Крайность заставляла искать выходов. Мне, например, довелось организовать группу профессоров Московского университета для чтения лекций по естествознанию красноармейцам в казармах. Мы получали за лекции немного денег, но главное — красноармейский паек. Хотя в воинских частях, куда мы были приписаны для выдачи пайка, каптенармусы нас нещадно и обкрадывали, все же кое-что оставалось. И это «кое-что», до введения академических пайков, было весьма существенной поддержкой для существования. А затем мы могли иногда уносить незаметно в карманах домой остатки хлеба и сахара, которые нам давали к чаю красноармейцы из своих обильных запасов перед лекцией.

Маятник качнулся в другую сторону. Введение в академическую жизнь «предметных комиссий», то есть организаций, объединявших всех профессоров и преподавателей по данной дисциплине, — имело две стороны медали. Вопросы по постановке преподавания разрешались теперь простым большинством голосов. Конечно, бывало, что опыт и научный авторитет преобладали, но это было скорее исключением, чем правилом. Отрицательным явлением была и замкнутость комиссий. Развивалась кружковщина. Продвижение ныне определялось очередью, и лишь изредка личными достоинствами. Приток талантливых сил извне исключался: давали ход своим, ибо они были «свои»*).

По всем этим причинам молодой преподавательский персонал более мирился с новым режимом в Московском университете, чем пожилые их коллеги. Были, однако, и ренегаты из среды старой, кадровой профессуры. Приведу два характерных случая, быть может, наиболее характерных для всей московской профессуры вообще. Клементий Аркадьевич Тимирязев, известный ботаник, еще от самого переворота весьма порадовал большевиков переходом в их стан. Советская печать курила ему без конца фимиам.

На физико-математическом факультете, к которому принадлежал Тимирязев, к нему относились, прежде

*) Вторым источником пополнения преподавательского персонала, в то время еще только начинавшимся, было непосредственное, помимо факультетов, назначение Наркомпросом профессоров и преподавателей.

Официально эта мера была введена еще с 1918 г., но на практике она не имела успеха, отчасти потому, что сами назначаемые избегали ею пользоваться.

На физико-математическом факультете, в 1921-1922 гг., было, однако, уже несколько таких случаев. Но каждый раз я приглашал вновь назначенного и, в откровенной беседе, выяснял ему будущую ложность его положения, если он войдет в состав факультета, не пройдя через баллотировку. Во всех случаях со мною соглашались и либо просили о баллотировке на факультете, либо изредка отказывались вовсе от назначения.

Крупная коллизия вышла лишь с проф. географии и этнографии Г.Адлером. Он получил назначение помимо факультета, на основании указания одного из видных членов последнего, проф. А-на. Г.Адлер, выразивший сначала, в письме ко мне, согласие на факультетскую баллотировку, потом от нее уклонился, и, отказавшись от назначения, переехал в Берлин, где читал лекции в университете. Если не ошибаюсь, в более позднее время, он все же стал профессором в Московском университете.

всего, как к крупному ученому; на политику в данном случае глаза закрывались. Например, в 1919 г., при общей закрытой перебаллотировке всех старых профессоров, с ним и не подумали сводить политических счетов: он был переизбран.

В следующем году К.А.Тимирязев умер. Профессура посвятила памяти Тимирязева собрания, с упоминанием всех его научных заслуг. Чествовала память Тимирязева и советская власть. Наркомпрос устроил торжественное заседание для коммунистической молодежи. Пригласил и физико-математический факультет делегировать представителя. Делегировал факультет автора.

Большой зал переполнен молодежью. Председательствует М.Н.Покровский. Оратор за оратором восхваляют заслуги умершего. Но вот выступает и сам Покровский. Своим тонким, становящимся часто визгливым, голосом произносит речь митингового характера. Она рассчитана на аплодисменты еще зеленых слушателей и наполнена выпадами против русской профессуры. Молодежь в восторге.

— Вот, например, ректор Казанского университета... Позволил себе протестовать против требований рабочего факультета... Конечно, ректор молниеносно вылетел вон!!

— Ги, ги, ги-гии!

Перейдя к К.А.Тимирязеву, Покровский стал издеваться над профессурой Московского университета. Они и с своей стороны чествуют память Тимирязева...

— Да как им и не чествовать! Они должны держаться за него. Что останется, товарищи, от профессоров — всех вместе, — если отнять у них Тимирязева?!

— Ги-ги-ги-ги...

Я не считал возможным более оставаться; вышел под ироническими взглядами.

Заслуги умершего были основательно вознаграждены. Семья щедро обеспечена; самому К.А. воздвигли у Никитских Ворот памятник; переименовали Петровско-Разумовскую академию в «Тимирязевскую»...

Сын умершего, профессор физики Аркадий Клементьевич, еще и до того придерживался коммунистических кругов.

После смерти Тимирязева-отца в советском официозе было напечатано письмо врача-коммуниста, друга умершего, с описанием этой смерти. Даже она была исполь-

зована для агитации... Между прочим, в уста умиравшего автором письма была вложена фраза:

— Надеюсь, что сын мой Аркадий будет всегда с вами!

После этой посмертной директивы, А.К. стал быстро изменяться. Записался кандидатом в партию, примкнул к красной профессуре. За бездарностью и невежественностью последней, стал ее естественным лидером. Раньше он казался в обращении мягким, деликатным, вообще воспитанным. Теперь стал неприятно резким, озлобленным... Понемногу в среде московской профессуры он завоевал неуважение, а затем и ненависть, чего вовсе не было в отношении Тимирязева-отца. Карьеру у власти он, однако, делал.

О выступлениях А.К.Тимирязева против Московского университета говорить еще придется.

Между прочим, в начале 1922 г. в Москве он выступил с докладом на губернской коммунистической конференции. После доклада, он получил в записке вопрос:

— Что собственно происходит на физико-математическом факультете Московского университета. Правда ли, что он — контрреволюционен?

А. К., как рассказывали, ответил:

— Правда! Там не только не оказала действия октябрьская революция, но не отразились даже февральская.

Второй случай — профессор Штернберг.

Переехавши в Москву и посещая своих коллег-астрономов, автор никак не мог застать дома проф. Ник. Карл. Штернберга*), директора Московской университетской обсерватории. Между прочим, на этом посту Штернберг не был удачливым заместителем предшественников: талантливейшего Ф.А.Бредихина, творца всемирно принятой теории формы кометных хвостов, а затем блестящего лектора и выдающегося ученого В.К.Цераского. Штернберг был, правда, старательным астрономом, но памяти в науке он по себе не оставил. Раньше его считали скорее правым; теперь он объявил себя большевиком. Перемена эта, как говорят, произошла под влиянием дружбы с одной известной впоследствии петроградской чекисткой.

*) В.В.Стратонов ошибся: Штернберга звали Павлом.
(Примеч. ред.)

В семье Штернберга мне сказали:

— Николая Карловича можно застать только в бывшем кабинете московского губернатора. Он ведь сейчас московский губернский комиссар!

Захожу в бывшую канцелярию губернатора, на Тверской. Поразила непривычная тогда еще грязь... Обстановка, мебель — изорваны. Входят без доклада. Хотел, входя, как никак — в губернаторский кабинет, снять калоши. Куда там, ясно — украдут.

За губернаторским столом восседает Н.К. Несколько взлохмаченная голова напоминает ученого. Из-за очков — суровые глаза.

Длинный хвост просителей — человек пятьдесят. Подходят один за другим к столу. Стал в очередь и я...

Решения губернатора — быстрые и вообще суровые.

Как раз передо мной — рабочий. Он из Клина — местная власть. Просит свидетельства на пропуск вагонов с мукой.

— Мука у нас больно дорога... Только одни мешечники и подвозят.

— А, мешечники? Так вы, товарищи, как увидите мешечников, так немедленно их расстреливайте!

Ой-ой! Вот так астроном, служитель мирнейшей из наук.

Увидел меня... Любезно усаживает в кресло:

— Подождите немного. Поговорим! Я скоро окончу прием.

Продолжает творить суд и расправу. И часто слышно:

— Расстрелять!

— Расстреливайте их!

При перевыборе профессоров в 1919 г. на физико-математическом факультете, Штернберг был забаллотирован. Единственный из старых профессоров...

Он переменял тем временем свой пост: поехал каким-то старшим комиссаром в армию, в Сибирь, на борьбу с адмиралом Колчаком.

В следующую зиму снова заговорили о Штернберге. Проезжая на автомобиле, кажется, через Иртыш, он провалился под лед. Штернберга вытащили; все же мокрый он ехал несколько часов на морозе до ближайшего поселения. Воспаление легких...

Штернберга срочно привезли лечить в Москву. Через два дня он здесь умер.

Большевики хоронили Н.К.. торжественно, с отдаением красноармейских воинских почестей.

II

Профессиональный союз. Объединенное совещание. Союз работников просвещения и социалистической культуры. Забастовка Московского университета. Комиссия Дуначарского. В «Большом Совнарком». Перед концом свободы. Погром.

Покушения на разгром как Московского университета, так и всех высших школ России, усилились с 1921 года. Московский университет был перед глазами, на передовом посту. Он и подвергался сильнейшим ударам.

Нападение вызывало защиту. В первую очередь это была борьба за спасение от разрушения Московского университета. Во вторую, вследствие центральности арены, — борьба за спасение высших школ и научных учреждений России от превращения их в безвольные орудия коммунистической власти.

Профессура оказалась не в силах остановить погромного удара. Но в течение нескольких лет, сколько могла, она задерживала и смягчала силу этого удара. И Московский университет пал, как свободная школа, только после всего того сопротивления, какое могла развить непризванная и непривычная к такой борьбе его профессура*).

Общая опасность сближала. Уже около года назад образовался профессиональный союз научных деятелей. Возглавлял его проф. Московского Высшего Технического училища В.И.Ясинский, стойкий, энергичный, идейно затрачивавший много труда на дело разносторонней помощи ученым. Весьма видное участие в этом союзе принимала, конечно, и профессура Московского университета.

Первоначально в союзе, или в тесной связи с ним, и принимались совместные шаги к защите высшей школы от разрушения.

Весной 1920 г. в Москву прибыла из Германии группа инженеров. Они были посланы разными предприятиями для разведок о положении дел в России. Тогда за границей еще сомневались — и правду принимали за злостные измышления эмиграции. Инженеров приняли спосо-

*)Автор должен воздержаться от поименования действующих лиц, кроме тех, кто находится вне досягаемости.

бом, ставшим трафаретным для наивных заграничных расследователей: они попали в надлежащие советские руки, и им показывали лишь то, что следовало... И впечатление о советском рае у них создавалось благоприятное.

Случайность привела одного из них к встрече с ранее ему знакомыми русскими инженерами. Те приподняли занавес... Немцы были поражены. Попросили устроить им собеседование с широкими кругами профессоров и инженеров на тему об истинном положении России.

Мы тоже тогда были еще несколько наивными: думали, что через посредство этих инженеров откроем глаза Европе на российскую действительность. Собралась — около ста человек — в большой физической аудитории Московского университета. Ждем час, другой... Нет немцев!

Позже выяснилось, что в этот день, рано утром, немцам подали поезд для возвращения в Германию. И дали красноречиво понять, что этого случая для возвращения им никак нельзя пропустить...

Но и с нами тогда еще церемонились: репрессий не последовало.

Чисто профессорская наивность проявлялась еще и в попытках защищать высшую школу посредством подачи петиций к власти.

Первая петиция, еще в 1920 г., была составлена в корректнейшей форме представителями разных московских ВУЗ-ов и предназначалась к подаче Ленину. Двойственность Ленина еще не была общеизвестной. Многие верили в то, будто Ленин не все знает, и будто не он сам других, а его кто-то вдохновляет на разрушение русской культуры.

Однако делегация никак не могла допроситься у Ленина приема. Петиция залеживалась и поэтому утрачивала значение своевременности. В апреле этого же года было заседание правления нашего профсоюза; присутствовал на нем, между прочим, и М. Горький. Тогда он — по крайней мере в Петрограде — как бы возглавлял покровительство ученым.

Вызвал я его на балкон и рассказал о нашей неудаче с получением приема у Ленина, для подачи ему петиции.

— Не можете ли вы, Алексей Максимович, нам в этом помочь?

Горький поморщился:

— Знаете, профессор, я как раз сейчас поссорился с Ильичей... Не совсем мне удобно.

Он подумал.

— Впрочем, я это устрою! Пришлите мне сегодня же, к пяти часам, вашу петицию. Я дам ее сначала Ильичу прочитать. Тогда он назначит прием!

Петицию Горькому я доставил. Приема все же не последовало.

Позже, разновременно были составлены еще три петиции. Они также не дошли до власти*). Некоторые профессора с изрядной наивностью, сами себя утешали:

— Все это важно для истории! Историки будут знать, как мы защищали высшую школу и науку...

Становилось, однако, ясным, что только действиями профессионального союза не обойтись. Вырисовывалась необходимость объединенной тактики всех московских высших школ. В Петрограде совет представителей высших учебных заведений и научных учреждений уже существовал. В Москве совещания таких представителей бывали до сих пор лишь случайно.

*) Особенно тщательно составлялась 4-ая петиция, весной 1921 г. На объединенном совещании представителей всех вузов Москвы петицию составляли, пересоставляли, редактировали, перередактировали... Наконец, составили. Получилось нечто среднее, со слабыми сторонами коллективного творчества.

Стали подписывать. Почему-то этим делом завладел проф. Х., один из любимых советской властью, совмещавший очень много должностей, в том числе и профессуру в Московском университете. Он настоял на том, чтобы петицию подписывали лишь наиболее ответственные лица, с перечислением при подписи всех своих титулов и должностей:

— Это произведет большое впечатление...

Сомневались, но исполнили. Затем он стал настаивать, чтобы петицию подписали еще виднейшие научные деятели Петрограда. Сам отвез туда для этой цели петицию. Петроградцы подписали. На все это ушло месяца полтора. После этого петиция стала мариноваться в столе у Х. О ней начали забывать.

Посетив как-то Х., я указал ему на это обстоятельство.

— Тогда возьмите ее вы, В.В., и давайте сами ей ход!

— Извольте! С удовольствием.

Петиция у меня. Спешно заставляю ее размножить. Часа через два звонок по телефону:

— Это я, Х.! В.В., петиция мне весьма спешно понадобилась. Пожалуйста, верните. Я уже послал к вам за ней служащего.

И эта петиция окончательно замариновалась.

С помощью профессионального союза, образовалось объединенное совещание, в которое вошли по одному выборному представителю от каждого факультета 14 высших учебных заведений Москвы*). Получился коллектив из 60-70 влиятельных членов московской профессуры. Однако, лишь редко собиралось более 25-30 человек; большинство осторожно уклонялось.

Мы собирались в помещении Консерватории, на Никитской. Главным образом разрабатывали меры по объединению защитной тактики. Выработанные меры вообще проводились и в жизнь. Но мы столкнулись с неожиданностью, которая произвела тягчайшее впечатление.

В открытую оппозицию всем стала Петровско-Разумовская сельскохозяйственная академия. Ее представители на нашем совещании — их было шестеро — в своем большинстве придерживались уже советской ориентации.

Расхождение между представителями академии и остальных высших школ настолько углубилось, что под конец представители Петровской академии и сами перестали посещать совещание.

Летом 1921 г. Наркомпрос устроил конференцию по делам высшей школы. Она должна была наложить свой штамп на составленный Наркомпросом новый устав, коренным образом изменявший прежний уклад высших школ. Состав конференции был нарочно подобран: Наркомпросу большинство обеспечивалось. Но для вида приглашались в небольшом числе делегаты от высших школ: ректор или один из деканов.

Для нас, на объединенном совещании, была ясной невозможность выявить на конференции голос высшей школы: коммунисты и пресмыкающиеся его бы заглушили. Поэтому московская профессура решила не участвовать на этой конференции.

Стали съезжаться в Москву приглашенные делегаты из Петрограда, а отчасти и из провинции. Перед конференцией было устроено совместное с приезжими совещание. Надеялись найти общий путь.

Собрались в нашем объединенном совещании, в Консерватории. Председательствование предоставили пет-

*) 13 Московских и 14-й Ярославский университет. Так как последний обслуживался наезжавшей из Москвы профессурой, его относили к числу московских высших школ.

роградцу, проф. Правдику. Однако, голоса резко разделились. Московская профессура, ссылаясь, между прочим, на разрушительные действия власти относительно Московского университета, настаивала на отказе от участия в конференции.

Петроградцы, в особенности техники, которые вообще держали себя благожелательнее, чем москвичи, к советскому режиму, настаивали на участии в ней. Поддерживая эту последнюю мысль, петроградский профессор Л.П.К-н высказал:

—Здесь говорят о Московском университете... Но он уже в развалинах! Это—деталь, на которой не стоит останавливаться.

Взрыв негодования. Профессора Московского университета поднимаются и уходят из зала, оставив лишь меня, с поручением дать надлежащую отповедь проф. К-ну, что и исполняется. Но ему сильно возразили и петроградцы, между ними покойный Д.С.Зернов, ректор технологического института, а также сам председатель*).

Петроградцы и провинциальные делегаты на конференцию пошли. Наркомпрос получил возможность ссылаться на участие профессуры в принятии пагубного для русского высшего просвещения нового устава.

Позже Д.С.Зернов мне говорил:

—Разумеется, это было ошибкою, что мы участвовали в конференции. Ваша московская тактика была правильной.

Как и следовало ожидать, после этой конференции наше объединенное совещание начало привлекать к себе раздраженное внимание советской власти. Стали доходить известия, что против нас намечены репрессии.

Перед началом одного из заседаний, на тротуарах около Консерватории были расставлены ранее подошедшие члены его, предупреждавшие вновь приходящих:

— Не входите! Получены сведения, что сегодня на совещании будут арестованы все его участники...

Один из наиболее взволновавшихся членов совещания указывал на стоящие вблизи автомобили:

— Уже приготовлено, чтобы нас везти...

*) Участие на конференции не избавило проф. К-на от высылки его, осенью следующего года, вместе с нами из России.

Арестов не было, но объединенное совещание после этого более не собиралось. Несколько раз делались попытки его возобновить. Но не образовывалось кворума. Членам совещания все вспоминался последовавший при подобных же условиях арест, во время заседания, «Комитета помощи голодающим».

Параллельно с этим шла борьба из-за нашего профессионального союза. Как сплоченная организация, он мозолил глаза Наркомпросу. Его решили закрыть.

Союз сопротивлялся. Проф. В.И.Ясинский, его возглавлявший, энергично искал помощи у разных влиятельных советских сановников. Все же его закрыли. Но организация тотчас воскресла под иным названием...

Тем временем Наркомпрос создал свой «Профессиональный союз работников просвещения и социалистической культуры». В первом параграфе его устава значилось, что союз стоит на платформе третьего интернационала.

Около, этого детища злого духа русского просвещения М.Н.Покровского дальнейшая борьба и повелась.

В союз были вынуждены вступить — организованности и солидарности у них было мало — «работники просвещения» низшей и средней школы. Но профессура — не пошла. Союз оказался одноким, с зияющей пустотой вместо высшей школы.

Правда фикция участия профессуры все же была: «красная» профессура и ренегаты. Но этим никто себя не обманывал.

Шагом к принуждению вступить в социалистический союз и было закрытие нашего союза:

— Союз уже есть... Другого и не надо!

Началось заманивание профессуры в казенный союз. Он выдавал своим членам бесплатно одежду, мануфактуру, провизию, сласти и т.п. При той оборванности в одежде и систематической голодовке, которая была среди нас, это не было пустяками.

Но как бы ни соблазнялись этими подачками более слабые духом — они, конечно, были, — все же лидеры московской профессуры не уступили. За ними *volens-potens* шла и вся московская профессорская масса.

Слабее обстояло у петроградской профессуры. Из Петрограда часто веяло некоторым миролюбием в отношении к начинаниям советской власти. Это не было настроением всей массы петроградских ученых — скорее,

наоборот! И мне лично приходилось слышать не раз от петроградских ученых недовольство непротивленческой политикой некоторых из их лидеров. Но сами эти лидеры не всегда проявляли достаточную твердость.

Спротивление отдельных лиц из среды петроградской профессуры не всегда, однако, увлекало остальных. И в вопросе о вступлении в социалистический профессиональный союз, в петроградском совете представителей ВУЗ-ов, многие, надеясь на улучшение материального положения, соглашались, при некоторых условиях, вступить в него.

Однако возникала товарищеская неловкость по отношению к москвичам. А москвичи не шли ни на какие компромиссы.

Тогда начался ряд совместных совещаний. В Москву несколько раз приезжали представители петроградского объединенного совета. И москвичи ездили в Петроград. В совещаниях иногда участвовали, в роли соблазнитель, делегаты социалистического союза...

Но неизменно, на всех совещаниях, побеждала наша московская точка зрения! Соглашение с социалистическим союзом было отвергаемо.

Наркомпрос счел себя вынужденным пойти на уступки. Из названия союза были вычеркнуты слова: «социалистической культуры». Осталось лишь: «союз работников просвещения». Кроме того, нам предлагалось, что будет создана при союзе особая секция высшей школы, «почти автономная».

Мы хорошо знали, чего стоят большевицкие обещания «почти автономности». Отказались, не вступили.

Однако материальные поблажки, даваемые союзом для соблазна профессорам, к нему примкнувшим, увеличивали число перебежчиков...

Весною 1922 г. Наркомпрос сделал новую попытку — повлиять на наше честолюбие. Был оглашен список из нескольких профессоров, призываемых занять высокие посты в этом союзе (этой чести удостоился, между прочим, и автор). Мы не пошли. Когда и это не увенчалось успехом, Наркомпрос, в апреле 1922 г., издал распоряжение о насильственном зачислении всех научных деятелей в состав союза.

Против насилия мы были безоружны и приняли это, как факт. Однако, до погрома в августе 1922 г. и высылки части из нас за границу, эта мера оставалась

только на бумаге*). Бедственное положение ученых изменилось к лучшему в течение 1920-1921 гг. лишь немного. Но понизилась способность бороться за существование. Силы падали. «Спецы» устраивались терпимо. Не так плохо было профессорам-врачам. Находили кое-какой заработок и юристы. Плохо приходилось филологам. Едва ли не хуже всех — математикам.

Не выдержали математики... Значительная их группа, человек 30-40, преподававшие в Московском университете (а также в Московском Высшем Техническом училище и др.) признали, что нет для них иного выхода, как прекратить преподавание и искать другой работы. В середине января 1922 г., на ближайшем заседании физико-математического факультета, которые происходили по средам, математики внесли предложение:

— Объявить забастовку!

Положение — ужасно непривычное. Прекратить по своей воле самое дорогое для профессора дело его жизни... Но мотивы — слишком веские! Математики полагали, что только подобной демонстрацией можно привлечь внимание на бедственное положение, в которое коммунистическая власть поставила ученых. Суждения факультета шли при очень серьезном настроении. Сознвалась вся тяжесть и ответственность предпринимаемого шага... Наконец, я поставил на голосование:

— Объявлять забастовку или нет?

Забастовка была принята почти единогласно.

*) В процессе переименований и реорганизации нашего профессорского союза, дошло в Москве до создания «комиссии по улучшению быта ученых», сокращенно — «КУБУ». В ней участвовало шесть представителей профессуры, преимущественно бывших профессорами Московского университета, несколько представителей советской власти, с коммунистическим сановником Каменевым во главе, и представители профессионального союза работников просвещения. Справедливо отметить, что Каменев несколько раз оказывал ценную помощь в интересах профессуры, при защите ее прав против посягавших на них. Фактически все дела КУБУ вел проф. В. И. Ясинский.

При КУБУ создался ряд полезных для профессуры начинаний: взятие в свои руки распределения академического пайка (чем прекращено было систематическое ограбление профессуры служащими выдававших до того пайки кооперативов), снабжение неимущих научных деятелей одеждой, создание своего кооператива, предоставление научным деятелям свыше десятка домов в разных частях Москвы и т.п. При КУБУ была сохранена также некоторая постоянная организация всей Московской профессуры.

На меня, как на декана, было возложено факультетом экстренно созвать общее собрание всех профессоров и преподавателей Московского университета, чтобы ознакомить их с решением физико-математического факультета. Шаг этот был явно нелегальный: общие собрания преподавательского персонала в университете были уже властью отменены.

Немедленно в канцелярии факультета все силы были посажены за печатание и рассылку воззваний, с приглашением всех профессоров и преподавателей, на другой день, на общее собрание в большую физическую аудиторию. Воззвания разносились и расклеивались по многочисленным зданиям университета, разбросанным в разных частях Москвы. Слух о нашей забастовке распространился мгновенно. Экстренно собрано было правление университета. Прибегает ко мне проф. О.К.Ланге, бывший назначенным членом правления:

— Правление просит вас пожаловать на заседание!

Ректор Волгин спрашивает:

— До правления, В.В., дошли частные сведения, будто физико-математический факультет объявил забастовку. Мы просим вас, как декана, удостоверить, соответствует ли это действительности?

— Это действительно так. Забастовка факультета объявлена!

— А, в таком случае, мы, значит, имеем официальное заявление о забастовке от должностного лица...

К этому времени «забастовочные» объявления уже белели по всем учреждениям университета.

Забастовка наша произвела переполох, — не только в правлении и Наркомпросе, но и в правительстве. Дело происходило как раз перед Генуэзской международной конференцией 1922 г., на которой большевики надеялись получить общее признание советского правительства. Они хотели бы представить миру дело так, будто в России все успокоилось, и власть всеми признана.

И вдруг — забастовка и кого же? Самых смиренных людей — профессоров! И притом — в самом сердце России — в Москве! Это уже не была возбужденная контрреволюционерами невежественная толпа... Никого не обманешь.

Луначарский, растерявшийся более других, выпустил длинное предлинное воззвание к профессуре. Оно было написано языком старых грозных министерских циркуляров. Профессуре угрожало всякими карами, если она

действительно станет бастовать. Плакаты с воззванием Луначарского в четверг с утра висели на зданиях университета. Они вызывали только иронические улыбки.

Правление потеряло голову: не догадалось просто закрыть физический институт, где мы назначили «нелегальное» собрание. Вместо того, подчинившись призыву, оно само в полном составе явилось на собрание. Была мобилизована и вся красная профессура, а также официальные представители Наркомпроса и союза «рабочников просвещения и культуры».

Собралось 400-500 профессоров и преподавателей. Был избран весьма тактичный и опытный председатель.

Собрание открыто было моей речью. Я объяснил, что факультет прибег к такой исключительной мере, как забастовка, потому что и время настало тоже исключительное. Теперь слышат только тех, кто громко говорить умеет, а слушают только тех, кто громко говорить смеет. Мы громко поднимаем наш голос, потому что нуждой и жизнью впроголодь доведены до невозможности вести преподавание. Среднее содержание профессора составляет ныне около двадцати пяти рублей в месяц...

В нашей забастовке политический момент исключен; но и сама по себе забастовка не может быть для власти мерою одиозной, ибо советская власть, посредством официальной печати, восторженно приветствует всякую забастовку, где бы на земном шаре она ни произошла... От имени факультета я просил собрание вывить свое отношение к нашему шагу *).

Недолгие, но страстные прения. Были голоса и против забастовки. Сильно возражал проф. А.П.Павлов, из чисто идейного опасения, как бы от этого не пострадала научная работа. Возражал и ректор Волгин, убеж-

*) Пока я говорил, помощник ректора проф. А.В.Кубицкий пробрался к студенческой коммунистической ячейке:

— Товарищи, напустите Чека на декана Стратонова!

Как ни странно, но этим провокационным поступком возмутилась даже коммунистическая ячейка и предала его огласке в студенческой среде.

На собрании, через несколько дней, я прямо спросил Кубицкого:

— Правда ли, что вы обратились с этою фразой к комячейке?

Кубицкий смутился. Прямо отрицать не решился и поспешно юркнул в толпу.

дая нас лучше обратиться с ходатайством по начальству. С тем же выступал и представитель профессионального союза социалистической культуры Кипарисов, рекламируя по этому поводу свой союз и убеждая вступить в него. Но большинство участников собрания слилось в один голос, в жалобу на нестерпимую материальную нужду. Один из профессоров, ударив рукой по скамье, воскликнул:

— Не двадцать пять! Двести пятьдесят рублей в месяц!

Гром аплодисментов. Другие находили эту цифру по современным условиям преувеличенной. Однако все признавали настоящее положение нестерпимым.

Приступили к голосованию. И подавляющее большинство высказалось за всеуниверситетскую забастовку.

Как только огласили результат этого голосования, поднимается проф. Тимирязев:

— От имени красной профессуры заявляю, что она не намерена подчиниться постановлению о забастовке, будет продолжать занятия и приглашает последовать ее примеру честных беспартийных!

Что здесь поднялось... Шум, крики, свистки...

— Это оскорбление!

— Тимирязев, вон!

— Долой его! Вон его!

Казалось, сейчас произойдет нечто тяжкое. Но наш председатель сумел, хотя и с трудом, заставить себя слушать:

— Господа! Надеюсь, что наше собрание не позволит себе прибегнуть к насилию!

— Профессор Тимирязев! Объявляю вам замечание за неуместное выражение. Здесь, в зале, нет никого, кто не являлся бы честным!

Тимирязев стоит, бледный, как стена.

Берет слово один из старых, всеми уважаемых профессоров и окончательно успокаивает бурю. После его речи в аудитории слышится даже добродушный смех. Собрание избирает затем делегацию из пяти человек. На нее возлагается руководство университетскими делами впредь до следующего собрания.

Жизнь в университете замерла. К забастовке присоединились все учреждения и институты университета. Вечером, на Моховой, — грустное, непривычное зрелище: черная темнота во всех зданиях университета, которые

москвичи привыкли видеть ярко освещенными и полными жизни.

Делегация немедленно разослала извещения о своей забастовке в другие высшие школы Москвы. К забастовке тотчас присоединился Коммерческий институт («Карла Маркса»). Вот-вот, казалось, забастует Высшее Техническое училище... Волновались и остальные высшие школы. Явилась делегация от студентов:

— Мы предлагаем профессорам содействие студенчества!

Не без труда удалось мне уговорить их не выступать:

— Ваши силы и жертвы еще понадобятся России. Теперь предоставьте действовать только нам.

Наша делегация стала домогаться приема у Ленина.

Надо было спешить! Если советская власть, в связи с Генуэзской конференцией, испугалась шага профессуры, то в свою очередь испугались и многие профессора последствий этого самого шага. Далее, серьезная опасность возникла со стороны армии ассистентов — молодых врачей, среди которых, как уже говорилось, было немало коммунистов. Врачи же не коммунисты были панически напуганы, правда не шуточной, угрозой наркомздрава Семашки — отправить их из-за забастовки, вместо состояния при университете, в провинцию, на борьбу с сыпным тифом. Поэтому молодые врачи намеревались сорвать общеуниверситетскую забастовку посредством созыва второго, своего общего собрания и вынесения на нем противоположной нашей резолюции. Конечно, Наркомпрос это второе собрание использовал бы по-своему, как общеуниверситетское. И во всяком случае выгодное для нас впечатление от нашего шага было бы испорчено.

Повидать Ленина оказалось невозможным: он уже секретно болел. Нам ответили:

— В виду болезни тов. Ленина, делегацию приглашает к себе в субботу, в Кремль, заместитель председателя совнаркома товарищ А.И.Цюрупа.

Проникнуть в Кремль было делом нелегким! Первый контроль — у ворот, на Знаменке. В наружной будке — проверка чекистами наших документов и затем телефонная проверка, действительно ли нам назначен прием. Нас, под конец, снабжают пропусками в Кремль. Но это только кажущиеся пропуска... Внутри против входных

ворот, проход в двух местах, одно за другим, забаррикадирован. У барьера охранники проверяют наши пропуска. Только после этого попадаем мы внутрь Кремля.

Сопровождающий нас чекист подводит нас к бывшему зданию судебных установлений и удаляется. Однако часовой у входа в здание нас снова задерживает, не взирая на пропуска. С кем-то говорит по телефону...

По лестнице спускается ком-девица с бумажкою в руке. Что-то проверяет, испытующе нас осматривает. Очевидно, этот экзамен мы выдерживаем. Ком-девица приказывает часовому нас пропустить.

Вскоре нас просят из приемной к «предсовнаркому». Хорошо обставленный кабинет. За богато убранным столом восседает бритый, по-американски, А.И.Цюрупа. Поднимается навстречу, здоровается; мы называем себя. В стороне, за столиками, сидят две или три девицы, как будто занятые посторонним делом. Это — стенографистки, записывающие каждое наше слово. Об их роли нам нечаянно позже проговорился Луначарский.

После вступительного слова делегатов, заговорил, со своим галицийским акцентом, Цюрупа:

— Совнарком был неприятно поражен известием о забастовке. Власть и сама встревожена положением дел в высшей школе. Да, конечно, оно серьезно... Это называется фактом забастовки...

— Но только зачем, господа, вы это сделали? Если у вас что-нибудь неладно, — ну, обратились бы прямо ко мне...

Он постарался бы уладить недоразумения. Совнарком уже постановил немедленно же образовать смешанную комиссию для урегулирования возникшего недоразумения. Да, да, — конечно, под председательством Анатолия Васильевича*). Иначе нельзя...

— Но это, Александр Иванович, профессию не успокоит! Хорошо известно, как в Наркомпросе выбирают представителей профессуры. Там подбирают своих!

— Тогда я предоставляю вам право самим избрать своих представителей от каждого высшего учебного заведения в комиссию Луначарского.

— Можно будет в этом случае сослаться на ваше разрешение?

*) Луначарского.

— Конечно!

Для нас это было весьма важным завоеванием.

— Но я прошу вас, господа: прекратите забастовку! И, пожалуйста, как только возникнет недоразумение, прошу обратиться прямо ко мне! Сейчас же...

Мы обещали, при таких условиях, постараться повлиять на прекращение забастовки. Цюрупа не подозревал, что фактически она уже была молодыми медиками сорвана. Теперь надо было выйти с честью из положения, не обнаружив ни раскола, ни малодушия в среде профессуры. Немедленно же, в понедельник, созвали мы новое собрание. Чтобы парализовать покушения на внесение раскола молодыми врачами, решили провести его быстро, не дав возникнуть прениям. Выступление в этом смысле от имени делегации возложили на автора.

На новое собрание сошлось около 800 человек профессуры. Впустили, кроме того, студентов. Большая физическая аудитория переполнилась до отказа. Явилась в полном составе красная профессура, сплоченная группой, под лидерством В.П.Волгина. Я изложил, возможно лаконически, о посещении нами Цюрупы, о передаче дела в комиссию, под председательством Луначарского и о предоставлении профессуре свободы выбора представителей.

— В виду тех обстоятельств, о которых я доложил, и еще в виду тех, которые известны делегации, но не могут быть доложены здесь, делегация предлагает: отказаться от каких бы то ни было прений и прямо приступить к голосованию вносимой ею резолюции.

В резолюции говорилось: доверяя обещаниям, данным делегации заместителем председателя совета народных комиссаров, общее собрание постановляет возобновить занятия в университете.

Нам удалось: прений допущено не было, резолюция принимается единогласно. Избираются также три делегата от университета в комиссию Луначарского.

Председатель собрания отмечает общее чувство удовлетворения по поводу того, что такое непривычное и несвойственное высшей школе дело явление, как забастовка преподавательского персонала, ныне прекратилось. Его прерывают шумными, по сигналу Волгина, рукоплесканиями красной профессуры.

— Но, продолжает председатель, необходимо признать, что никогда и обстоятельства не были столь

тяжкими и дававшими столько поводов к возникновению забастовки, как те, что ее вызвали.

Теперь — гром аплодисментов остальной профессуры и студенчества.

В этот вечер вновь засветились огни в зданиях университета. Жизнь в них возобновилась.

Началась, затянувшаяся на 2,5 месяца, деятельность комиссии Луначарского.

Из разных московских ВУЗ-ов было избрано по 2-5, всего около пятидесяти представителей. Получалась смесь политических настроений: от убежденных антибольшевиков, до представителей Петровской с.-х. академии и даже нескольких коммунистов.

Первая наша встреча с властью, в лице Луначарского и старших деятелей Наркомпроса: Покровского, Яковлевой, проф. Классена и др., прошла под знаком ласкового внимания к нам и как будто даже желания идти к нам навстречу. Один только Покровский сидел хмурый, как туча, недовольный: происшедшая история касалась ближе всего его лично. Впрочем и насчет цены этого официального внимания Луначарского и К° никто из нас не обманывался.

Мы поставили вопрос не специально об улучшении положения профессуры, а о бедственном материальном положении русской высшей школы вообще. Однако, как только нами возбуждался какой-либо вопрос, Луначарский тотчас же просил составить об этом подробную записку, для рассмотрения ее в Наркомпросе.

Сначала мы шли на его просьбы *bona fide*, пока не увидели, что это лишь тактический прием: не обостряя отношений спорами, благополучно хоронить возбуждаемые нами вопросы в канцеляриях.

Но, еще до первого заседания, мы успели образовать свое совещание — выборных представителей, — для объединения тактики. Каждую неделю собирались мы в геологическом кабинете Московского университета, обсуждали предварительно поднимаемые вопросы, намечали линию поведения. Мы поставили дело так, что в комиссии Луначарского высказывал взгляд совещания лишь один его представитель. Этим парализовались споры пред лицом Наркомпроса. Мера эта удалась. Несмотря на разносторонность взглядов участников, совещание все же недурно консолидировалось. Даже выборные представители — коммунисты явно партийной линии здесь

не вели. Конечно, благодаря их присутствию, каждое наше решение или суждение становилось тотчас же известным кому следует. Но мы вели дело, считаясь с этой возможностью. Представители Петровской с.-х. академии от нас совсем отошли.

Значение нашего совещания все возрастало. В нем, а не в комиссии Луначарского, предрешались взгляды и вырабатывались резолюции. К нам начали приезжать представители из Петрограда. Бывали делегаты из провинциальных высших учебных заведений, испрашивавшие директив о тактике.

Трудно иногда бывало с наезжающими петроградцами, все из-за нашего различия тактики относительно власти. Особенно обострилось дело, когда приятный советской власти проф. З., ректор одной из высших школ Петрограда, перешел, с благословения некоторых кругов петроградской профессуры, на службу в Наркомпрос. Петроградские представители, в особенности их «Нестор» проф. Д.С.Зернов, настаивали, чтобы З. считался представителем в Наркомпросе всей русской профессуры, действующим там как бы по ее доверию. Москвичи же, более склонные смотреть на З. как на обыкновенного чиновника Наркомпроса (впоследствии З. именно таковым и стал), на это не согласились.

Между прочим, Луначарский в комиссии поставил очень острый вопрос — о закрытии целого ряда русских высших школ. Общее их число в России превзошло к тому времени сотню, а с рабочими факультетами, причислявшимися властью к высшим школам, — даже две сотни. Теперь Наркомпрос хотел бы улучшить положение одних высших школ за счет закрытия других... И Наркомпрос придумал считавшийся, вероятно, ими очень «тонким» план — провести все это под видом нашего профессорского решения, чтобы затем весь *odium* за столь непопулярную меру, вместо Наркомпроса, лег на выборных представителей профессуры. Нам были представлены на рассмотрение два или три проекта сокращения сети высших школ. По проекту максимального сокращения на всю Россию Наркомпросом предположено было оставить только четыре высших учебных заведения, а именно:

- 1) Московский университет;
- 2) Петроградский политехникум;
- 3) Петровско-Разумовскую с.-х. академию;
- 4) Рабочий факультет имени Покровского при Московском университете.

По второму проекту предполагалось сохранить десятка три высших школ и т.д. Конечно, мы отклонили свое вмешательство в дело сокращения высших школ*).

Однако, чтобы спасти от закрытия более серьезные из высших учебных заведений, в нас возникла мысль о восстановлении платы за учение, для покрытия этим путем хотя бы части расходов на их содержание.

Нам это казалось делом, трудно исполнимым. Всякое обучение в советской России декретами было объявлено абсолютно бесплатным. В целом ряде своих статей, в советской печати, Луначарский распинался о невозможности взыскивать плату за учение. Этого-де никогда в советской России допущено быть не может! Он также низвергал всякие громы на частные платные школы... Это-де противоречит принципам коммунизма. Вносить наше предложение в комиссию Луначарского пришлось мне. Считаюсь с высказывавшимся им ранее, я начал осторожно:

— Мне приходится сделать, Анатолий Васильевич, предложение, которое, без сомнения, вызовет с вашей стороны сильные возражения...

Ожидал, что он возмутится, запротестует... Но Луначарский отнесся совершенно спокойно:

— Мы это предложение обсудим и разработаем в Наркомпросе!

Вскоре после этого действительно была вновь в советской России введена плата за обучение. А через некоторое время она достигла (для непривилегированных) таких уродливых форм, что бедное студенчество застонало. Этого мы уж никак не предвидели.

Закрытие некоторых из высших школ началось уже после погрома нас самих. Вообще же в основу своих преобразовательных планов Наркомпрос ставил поднятие

*) Все же была образована при «Главпрофобре» (Главном управлении по профессиональному образованию), к которому уже были причислены все высшие учебные заведения, — особая комиссия, во главе с Яковлевой, для разрешения разных частных вопросов по судьбе высших школ. Комиссия разбилась на четыре отдела: университетов, затем технических, сельско-хозяйственных и медицинских высших школ. В каждый отдел вошло по одному представителю Наркомпроса и одному представителю профессуры. Мне, напр., пришлось быть в первом, университетском отделе; моим партнером от власти был Волгин. Это была уже неприкрытая комиссия: все решали сами представители Наркомпроса, не советуясь с нами хотя бы из приличия.

роли предметных комиссий — своего рода маленьких совдепов. Мы против этого возражали, указывая на ранее здесь мною отмеченные*) дефекты этого нововведения.

Тем временем Генуэзская конференция кончилась. Она обманула мечты большевиков. Теперь у советской власти не было больше причин церемониться с нами. Это сейчас же и обнаружилось. Заседания комиссии Луначарского стали назначаться все реже. Один раз мы собрались на заседание, а ни Луначарский, ни кто либо из Наркомпроса вовсе не явился. После оказалось, что Луначарский отменил заседание, а нас не потрудились уведомить. Перестали церемониться...

Если же заседание и происходило, Луначарский теперь держал себя с показным равнодушием, небрежно. По-прежнему все предлагали нам писать записки... Но мы их более не составляли...

Тогда, в своем совещании, мы решили, что тянуть эту комедию не стоит. Постановили — совсем прекратить наше участие в комиссии Луначарского.

Надо было лишь объяснить наше решение власти. Мне было поручено составить об этом краткий, но энергично написанный доклад, для непосредственного вручения А.И.Рыкову, который в то время заменял Ленина.

Прием у Рыкова мы получили довольно скоро. Но — уже не в Кремле, а в реквизированном доме на углу Моховой и Знаменки. Следуя бюрократическому обычаю, Рыков долго продержал нас в приемной. Это должно было означать его недовольство нами. Наконец, вводят.

В сравнительно скромном кабинете восседает за столом Рыков. Рыжеватый, с козлиной бородкой; сильно заикается. Прихрамывает.

Прием — довольно сухой. Рыков уже познакомился с нашим последним докладом. Он высказывает нам свое крайнее начальственное неудовольствие по поводу решения «саботировать» комиссию Луначарского.

— Я вне-не-су это де-дело в бо-бо-боль-большой со-сов-совнарком... Пусть про-про-фессу-сура выбе-бе-берет своих де-делега-гатов!

Простился с нами сдержанно.

Совещание выбрало четырех делегатов от Москвы и двух от Петрограда. Мы условились вовсе не жаловать-

*) См. с. 423.

ся Совнаркому на Луначарского. Все равно — было бы ни к чему! Решили, что лучше будет даже поддержать Наркомпрос в его хлопотах об увеличении ассигнований на высшие школы.

Пришло, в начале мая, приглашение нас на заседание в Большой Совнарком. Опять прохождение в Кремль через те же проверочные инстанции... И вот мы в здании судебных установлений.

Ждать нас заставляют долго. Совнарком-де заседает... Подходят и представители красной профессуры: Тимирязев, Волгин и др. А они-то здесь зачем? Наконец, нас приглашают. Длинная зала. Во всю ее длину — стол. За ним, на диванах и стульях у стены сидят члены Совнаркома. Много их здесь, человек около шестидесяти. За председательским столом — А.И.Цюрупа. Мы продвигаемся с одной стороны длинного стола. Нас сопровождают любопытствующие, иронические взгляды большевиков. Уже ясно — наше дело предрешено. Мы его должны проиграть...

— Прошу профессуру сесть сюда! — говорит председатель.

Нас усаживают в стороне, у стенки, неподалеку от председательского стола. Немного в стороне — тоже особый стол. За ним, в одиночестве, среди кип бумаг, сидит А.И.Рыков.

— Точно прокурор! — мелькнуло в мыслях.

Первое слово предоставляется нам. Председатель делегации, в мягких и осторожных выражениях, обрисовывает дело, приведшее нас сюда.

— А нет ли, — спрашивает Цюрупа, — среди профессоров кого-либо, кто держался бы иного взгляда, чем высказанный представителем профессуры?

Подскакивает, поднимая руку, Тимирязев. Так вот, значит, для чего были они сюда истребованы...

Не узнал я Тимирязева, все же не лишено известной мудрости. Его речь была построена на сплошной неправде, передержках — и притом так, что уличить его труда не было. Тимирязев не столько говорил по вопросу, сколько обрушился на профессуру вообще. В частности, он защищал целесообразность существования и развития предметных комиссий, которые Наркомпрос ставил в основу намеченной реформы:

— Профессора, говорил Тимирязев, возражают против предметных комиссий... Это потому, что в них будут

иметь голос также и преподаватели, которые теперь лишены всякого голоса. Все в руках профессоров!

Он утверждал также, что профессора пристрастно и безо всякого основания нападают на рабочий факультет.

Берет слово Луначарский. С большой горячностью и пафосом произносит он защитительную речь по поводу своей деятельности в отношении высших учебных заведений. Он защищается авансом против обвинений, которые, как он ожидал, будут сейчас к нему предъявлены. В руках у него был написанный мною наш объяснительный доклад, который в копии лежал также перед каждым из присутствующих.

Вслед за ним произносит также свою защитительную речь и Покровский.

Обе речи повисают в воздухе! Никакого нападения с нашей стороны на Луначарского и Покровского не последовало. Этого они не ожидали. Недоумевающий Луначарский замолчал уже до самого конца заседания.

Один из наших делегатов легко опровергает Тимирязева за искажение им истины. Он затем указывает, что на отпускаемые Луначарскому средства и в самом деле невозможно сохранить высшую школу от разрушения. Поэтому он поддерживает просьбу Луначарского о значительном увеличении ассигнований на высшие школы.

Я, с своей стороны, приканчиваю Тимирязева, избличив его в передержках и в неправде. Как член факультета, он знает, что младшие преподаватели пользуются равным голосом с профессорами. Неужели профессор Тимирязев считает, что Совнаркому нужна именно неправда? Я указываю также те факты, которые дают основания протестовать против действий слушателей рабфака*). По существу же я, быть может в несколько энергичной форме, высказываю ту же мысль, что имея уже кладбище низшей школы и кладбище средней школы, вы должны беречься, как бы не создать еще и третьего кладбища. К этому уже идет...

— Мы вам говорим об этом прямо и серьезно!

— Слово принадлежит товарищу Дзержинскому!

Этим выступлением нарушается относительно спокойное течение заседания. Истерически резкая речь! Сам

*) См. с. 415.

Дзержинский, невысокий, не то что подвижной, а весь какой-то издерганный, производит впечатление не могущего или не желающего владеть собою неврастеника-дегенерата. Он буквально прокричал свою речь, обрушившись при этом лично на меня:

— А-а! Вы различаете — «мы» и «вы»! Вы себя противопоставляете рабоче-крестьянской власти?! Так мы сумеем показать, что вы должны ей подчиниться! Для этого у нас достаточно средств...

— Забастовку устраиваете!! А я знаю, что профессура бастовала по указке из Парижа. У меня на это есть доказательства! Вас нарочно заставили забастовать, чтобы помешать советской власти на Генуэзской конференции...

Он неистовствовал минут десять. Наконец затих и уселся. Я иду к председателю — просить слова для ответа. Должен при этом подчеркнуть корректное председательствование на этом заседании Цюрупы.

Выступление Дзержинского подействовало на делегацию угнетающе. Последовали лишь осторожные выступления. Несколько слов проговорил Д.С.Зернов о необходимости больших ассигнований на ремонт зданий...

Берет слово Рыков. Говорит с большим раздражением:

Он извиняется пред Совнаркомом, что побеспокоил его созывом на это совещание. Он-де думал, что профессура принесет жалобу на Наркомпрос. Совнарком собственно и должен был заняться рассмотрением ее. Между тем, профессора на товарища Луначарского вовсе не жаловались, а один профессор даже просил о поддержке ходатайства Луначарского. Рыков обрушивается затем на профессуру вообще:

— Что вы делаете для народа? Что вы сделали, например, для устранения голода на Волге?!

Рыков просит поэтому Совнарком принять его резолюцию. Он ее читает: предлагается признать правильными и одобрить действия наркома Луначарского и выразить осуждение профессуре за неосновательные претензии.

Последнее слово предоставляется Цюрупю мне:

— Народный комиссар внутренних дел обрушился на меня за якобы сделанное противопоставление «мы» и «вы». Но очевидно, что иначе выразиться я не мог. Если б, обращаясь к членам Совнаркома, вместо «вы» я

сказал бы «мы», то можно было бы подумать, будто мы подозреваем членов Совнаркома в желании стать профессорами, тогда как эта карьера едва ли их соблазняет. Или же — можно было бы подумать, что мы, профессора, мечтаем стать членами Совнаркома, тогда как мы слишком скромны, чтобы мечтать о такой карьере...

В зале поднимается сдержанный, но общий смех. Дзержинский делает злое лицо.

— Народный комиссар Дзержинский говорил также, что у него есть документы относительно получения профессорами директив на забастовку из Парижа. Как один из деятелей по организации забастовки, утверждаю, что никаких указаний из Парижа об этом мы не имели. И никакие документы доказать противного не могут!

Дзержинский сверкает глазами.

Затем я возразил Рыкову. Профессора ничего не сделали для устранения голода... А что власть позволила бы делать в этом направлении профессорам? Намекаю на арест общественного комитета помощи голодающим. И снова призываю внимание Совнаркома на трагическое положение высшей школы.

— Прения закончены! — заявляет Цюрупа.

Ставится на голосование резолюция Рыкова. Странный факт: несмотря на партийную дисциплину, за резолюцию поднимают руку, правда, большинство, однако не все члены собрания. Примерно одна треть воздержалась...

Мы выходим. Насмешливыми взглядами нас больше не провожают.

Некоторые результаты забастовка все же дала. Было действительно привлечено внимание на невозможное материальное положение высшей школы. Ассигнования на русские ВУЗ-ы были повсюду увеличены. Удалось избавиться от намечавшегося Наркомпросом, в видах экономии, закрытия жизнеспособных высших школ. Улучшено было и материальное положение русской профессуры. Такие профессорские оклады, как 25 рублей в месяц, более не стали возможными. Их повысили, иногда до приемлемой суммы.

В деле улучшения материального положения профессуры был применен, однако, иезуитский прием. Он должен был расколоть относительное единство профессуры. Ей даны были прибавки к содержанию, но не по объек-

тивными основаниям, а по индивидуальным — в зависимости от научной ценности каждого, а также от его административного и организационного стажа.

Комиссиям из специалистов предложено было распределить научный персонал по пяти разрядам. Группа, самая высокая по научной оценке (5-й разряд), но вместе с тем самая малочисленная (20-30 человек на всю Россию), должна была получать месячное пособие в 125 платежных единиц; самая же низкая в научном отношении и, вместе с тем, наиболее многочисленная группа — 10 или 15 тех же единиц.

Кость голодным и все же часто ревнивым друг к другу людям была брошена... Стали распределяться по комиссиям и квалифицировать один другого. Вообще применялась большая снисходительность. Все же много было задетых самолюбий, немало возникло затаенных обид.

Но неожиданно над этими комиссиями специалистов, проводшими свою работу более мирно, чем, быть может, ожидалось, выявилась еще какая-то келейная сверхкомиссия, почему-то с проф. Х.*) во главе. Она стала по своему усмотрению изменять оценки, сделанные специалистами, главным образом на основании личного мнения проф. Х., а также по полезности оцениваемого для советской власти. Это вызвало взрыв негодования, тем более что Наркомпрос считался именно с оценкой этой сверхкомиссии.

Масла в огонь подлила и власть, ставшая включать в эти группы еще и своих литературно-политических деятелей, которых к науке трудно было бы притянуть и за волосы. Например, Демьян Бедный был оценен весьма высоко — 4-м разрядом... Такие пособия этим «ученым» шли за счет ассигнования на профессию и действительных ученых.

Заседание Большого Совнаркома и резкое изменение властью тона с профессурой вызвали упадок духа и в совещании представителей высших школ. Очевидно, стало нужным перестроить ряды. Мы сочли свою миссию, которая носила боевой тон, завершенной. Иную и по необходимости более умеренную политику следовало предоставить уже новым избранникам.

*) См. примечание на с. 429.

Действительно, по московским высшим учебным заведениям состоялись выборы в совещание новых представителей. Они, однако, смогли собраться только один раз. Вмешалось ГПУ. С недвусмысленными угрозами потребовало оно роспуска совещания. Пришлось подчиниться!

Опасность ломки университета все приближалась. Мы ожидали реформы во время летних каникул, когда многие профессора разъедутся и протестовать будет трудно. Я предложил физико-математическому факультету, чтобы не оказаться нам в трудную минуту беспомощными, продолжать факультетские собрания и летом, называя их частными совещаниями. Это было принято, но собраться удалось нам только один раз.

Показалось, как будто помощь идет со стороны КУБУ, руководимого неупоминимым В.И.Ясинским. С согласия власти возник проект создания при КУБУ постоянного совета профессорских делегатов. Действительно, в середине лета произошло, по созыву КУБУ, в «богословской» аудитории Московского университета, собрание профессоров и преподавателей всех московских ВУЗ-ов, для избрания сотни делегатов. Участвовало около тысячи человек; председателем собрания избрано автора.

Благодаря организационным ошибкам инициаторов собрания и благодаря дебоширству теперь осмелевшей красной профессуры, собрание протекло весьма бурно. Перед самой подачей избирательных записок проф. Тимирязев заявил:

— Красная профессура отказывается принимать участие в выборах. И она не допустит, чтобы эти выборы были утверждены властью!

Во главе с Тимирязевым красные уходят из собрания. Делегаты все же избираются. Но... власть действительно кассирует выборы.

Через некоторое время назначается КУБУ новое собрание с той же целью. Но число делегатов, подлежащих избранию, Наркомпросом теперь уменьшается раз в десять. И для раздробления сил теперь создаются две курии: отдельно профессоров и отдельно преподавателей. Кроме того, председатели — не по избранию, а по назначению власти: в профессорской курии — наркомздрав Н.А.Семашко, в преподавательской — В.П.Волгин. Настроение заметно упало: в профессорской курии

участвует только 120-150 человек. Конкурируют два списка: один наш, профессорский; другой — соглашательский, с именем популярного в университете проф. А. П. Павлова во главе.

Это меня удивило. К А. П. Павлову, члену нашего факультета, я неоднократно обращался с предложением принять те или иные административные функции, и всегда встречал отказ. Преданный всею душой науке, и только ей, А. П. говорил:

— Я никогда не принимал и не приму административных обязанностей!

Спрашиваю председателя:

— Прошу удостоверить, что проф. Павлов согласился стать делегатом. Не может ли случиться, что, после выборов, от него, сейчас здесь отсутствующего, получится отказ? И тогда список, ради него собственно и прошедший, окажется без проф. Павлова. Кто собственно получил от него согласие?

Семашко замялся:

— Я точно не знаю. Вероятно, кто-нибудь с ним говорил...

Картина стала ясной.

Из наших рядов делается заявление о том, что профессура привыкла иметь не назначенного, а своего избранного председателя...

Председатель смущен:

— Я, собственно, не стремился к председательствованию. Но раз меня назначили, я должен председательствовать.

Начинаются выборы. Записки поданы. Семашко просит избрать трех представителей собрания, чтобы вместе с ними, в двух парах, подсчитать результаты.

Избранному в числе трех представителей, мне приходится считать в паре с Семашкою. Результат сразу выясняется. Блестяще проходит наш, профессорский список. Записав последний итог, я обращаюсь к председателю:

— Николай Александрович, готово... Николай Александрович!!

Семашки что-то не видно...

— Господа, где же председатель? Кто видал?

— Да, где же в самом деле наш председатель?

— Господин председатель!

— Товарищ председатель!!

Повсюду ищут Семашку... Но, увы, без результата. Видя провал соглашательского списка, Семашко потихоньку сбежал из собрания.

Гомерический хохот! Все же избираем своего председателя, чтобы хоть оформить результаты избрания.

В курии преподавателей, благодаря изобилию коммунистующих медиков, дело прошло не так гладко. Все же и там прошел антисоветский список, несмотря на то, что перебежавший, как после выяснилось, от нас к преподавателям Семашко произнес, перед подачей записок, агитационную речь*).

В июле же утверждается новое положение о высших учебных заведениях. В основу академической жизни этим положением ставятся предметные комиссии. Их составляют все научные работники, принимающие участие в преподавании соответствующих дисциплин, а также представители студентов, «выполняющих учебную повинность» по дисциплинам, данным предметной комиссии, — в количестве, равном половине научных работников.

Студенты таким образом участвуют: «в распределении преподавателей между различными учреждениями; в распределении читаемых курсов между преподавательским персоналом; в детальной разработке программ; в обсуждении методов преподавания; в руководстве учебно-вспомогательными учреждениями; в рекомендации пригодных для замещения профессорских вакансий».

Совет высшего учебного заведения состоит из членов правления, всех деканов, представителей профессиональных объединений, выдвинутых профсоюзами, по соглашению ВЦСПС с Наркомпросом, представителей губисполкома, представителей заинтересованных народных комиссариатов, представителя от местного комитета служащих... Впрочем, профессора не совсем устранены из совета ВУЗ-а: они имеют в нем пять представителей. По столько же представителей имеют преподаватели, а также студенты. В том же июле состоялась в Москве коммунистическая конференция. На ней Зиновьев предложил программу о борьбе на трех фронтах: научном, литературном и кооперативном. Программа эта конференцией была принята. Момент, признаваемый подходящим для сведения с профессурой счетов, наступил.

*) Насколько помню, избранные делегаты к деятельности допущены все же не были.

18 августа. Ночью звонок. Чекист! Обыск. Арест... Отвозят на грузовиках в знаменитую внутреннюю тюрьму ГПУ на Лубянке. Поздней ночью — в комендатуре тюрьмы. Новый обыск. Ряд неожиданных встреч. Вопросы глазами: — Как, и вы?

Много знакомых профессоров. Несколько — Московского университета. Разводят по камерам. Швыряют в дверь грязный, в подозрительных пятнах, сенник и доски. Устраиваем себе ложе. Тюрьма возбуждена — в одну ночь столько новых арестантов! Едва заснут, снова дверь открывается. Новый!

Шепчутся арестанты:

— Что-то происходит в Москве...

В эту ночь отвезли в тюрьму ряд профессоров, писателей и деятелей кооперации. В Москве арестовали человек сорок. В Петрограде и в провинции — примерно столько же. Программа Зиновьева приводилась в исполнение. Тюремный режим внутренней тюрьмы ГПУ не раз описывался: содержание голодными, грубое обращение, лишение прогулок, умаление дневного света в камере, разрешение только один раз утром и один раз вечером, в назначаемое надзирателем время, пользоваться уборными и пр.*).

Всем нам предъявлено одно и то же, еще до ареста и довольно нелепо составленное обвинение. Оказывается, мы все огулом виновны в контрреволюционной дея-

*) В одной камере со мной было девять арестантов; между ними профессор-философ Московского университета Н. А. Бердяев.

Ночью наша камера оглашается воплем:

— Погибаю! Поги-ба-аю!!

Вскакиваем. Что такое?!

Снова неистовый крик не своим голосом...

По коридору, гремя оружием, бежит караул. Дверь поспешно открывается. Камера заливается светом.

— Николай Александрович, да проснитесь же...

— По-оги-бааю!

— Ничего подобного! Очнитесь!

Наконец, наш профессор просыпается. Оглядывается, поворачивая недоумевающе взлохмаченную голову...

— Что случилось?

— Что... Да вы же во сне крик подняли!

— Я? Разве?...

Караул смеется. Надзиратель, прибежавший с караулом, старается быть строгим. Ищет жертвы, на которой сорвать бы досаду... Искупительная жертва найдена:

— Снимите жилетку! Слышите? Немедленно снять жилетку!!

Николай Александрович покорно снимает свой жилет. Караул уходит...

тельности вообще, а в частности, в содействии белым войскам; это содействие особенно нами усиливалось при приближении белых к Москве... Ряд бесцельных ночных допросов у следователя. Бесцельных — ибо наша судьба уже наперед предрешена:

— Высылка профессоров и писателей за границу!

А кто на это добровольно не согласится, предание суду по обвинению, могущему окончиться «высшей мерой наказания», с предварительным содержанием в тюрьме.

Позже мы узнали взгляд власти:

— Непримиримых профессоров вышлем за границу. Остальных напугаем, а затем ублажим материальными поощрениями.

Американский журналист интервьюирует Троцкого о смысле высылки нас за границу.

— О, — говорит Троцкий, — высылка за границу — это лишь гуманная мера в отношении высылаемых! Иначе нам пришлось бы их расстреливать, в случае каких-либо контрреволюционных выступлений...

Нас обязали выехать в Германию в течение одной недели, после освобождения из тюрьмы. Заграничные паспорта и визы должно было добыть ГПУ. А мы обязаны были чуть ли не через день являться в это учреждение*). Ходим, ходим, а ГПУ заграничных паспортов все не дает!

Проходит не одна неделя, а несколько. Наконец, узнаем причину промедления. Вот ответ германского правительства:

— Германия не является местом ссылки для кого бы то ни было. Поэтому, на основании высылки ГПУ, визы в Германию никому дано быть не может. Но правительство осведомляет, что, зная, кого именно высылают ГПУ, и в том случае, если высылаемые добровольно пожелают прибыть в Германию, разрешение на въезд будет им дано немедленно.

*) Мы являлись в комендатуру тюрьмы на Лубянке, а оттуда чекисты, снесясь по телефону с соответственным отделением, пропускали нас дальше.

Ждем мы как-то разрешения. Передо мною — наш историк, проф. А.А.Кизеветтер, со своей окладистой бородой. Чекист посмотрел на его бороду и телефонирует:

— Священник Кизеветтер просит пропустить!

— Какой я священник! — возмутился А.А. — Гражданин Кизеветтер, а не священник!

Чекист осмотрел его недоверчиво... Но все же согласился...

Мы подали такое заявление и тотчас получили визы. Нам было неоднократно подсказываемо, чтобы мы просили Политбюро пересмотреть постановление о нашей высылке за границу.

— Ведь не считалось же раньше предосудительным не только просить о смягчении наказания министра внутренних дел, но даже подавать об этом прошение на высочайшее имя...

Человек десять из высылаемых действительно просили о пересмотре и об оставлении их в Москве. На весьма тяжелых моральных условиях им это было разрешено.

В последний день сентября 1922 г. германский пароход «Обербюргермейстер Гакен» увозил из Петрограда в Штеттин наполнившую все судно группу высланных из Москвы, вместе с их семьями. Из профессоров собственно Московского университета были высланы: А.Л.Байков, Н. А. Бердяев, И.А.Ильин, А. А. Кизеветтер, М.М.Новиков, С.Л.Франк и В.В.Стратонов*).

Отдохнув душою на пароходе, после пережитых испытаний, мы поблагодарили любезного капитана за отношение к изгнанникам адресом**), в котором было сказано:

— Потерпев житейское крушение на материке, в Москве, мы нашли, наконец, тихую пристань среди волн Балтийского моря, на вашем пароходе.

Мы лично нашли тихую пристань, хотя ее и не искали. И возвращение на родину для нас закрыто, под угрозю расстрела.

А Московский университет стал ареной для сведения дальнейших счетов и с профессурой и с несчастным студенчеством. Луначарский и Покровский добивали высшую школу беспрепятственно.

О тяжких днях Московского университета, наставших после потери им свободы, расскажут их пережившие, когда получат свободу слова.

*) Мы были уже в Берлине, когда получилось известие, что относительно двух из высланных профессоров — В.И.Ясинского и автора — Политбюро решило изменить меру наказания, заменив высылку за границу ссылкой не то в Якутскую губернию, не то в Туруханский край. Однако, благодаря канцелярской волоките, запоздали...

**) Составленным проф. С.Л.Франком.